

Пройти сквозь стены. Автобиография

Автор:

Марина Абрамович

Пройти сквозь стены. Автобиография

Марина Абрамович

Автобиография Марины Абрамович – это вербальное высказывание, дышащее такой же силой и бесстрашием, как и ее в основном невербальные художественные перформансы. Она с присущим ей сухим юмором рассказывает о детстве и юности, которые прошли под жестким контролем авторитарной матери, о своем искусстве, пронизанном неисчерпаемым любопытством и желанием познать людей. Центральная часть книги посвящена ее отношениям и коллаборации с художником Улаем – отношениям, которые после 12 лет завершились совместным зрелищным перформансом на Великой Китайской стене.

Марина Абрамович

Пройти сквозь стены. Автобиография. В новой редакции

Я посвящаю эту книгу

ДРУЗЬЯМ и ВРАГАМ

Marina Abramovic

WALK THROUGH WALLS

© Marina Abramovic, 2016

© Катя Ганюшина, перевод

© Яна Овруцкая, составление

© Roberto Atzeni (Florence 2018), «Женщина в красном» («Woman in red»),
изображение на обложке

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Благодарность

Я бы не смогла пройти сквозь стены одна.

Прежде всего я бы хотела выразить глубочайшую благодарность Джеймсу Каплану. Он выслушивал меня несчетное количество часов и помог рассказать мою историю. Его желание понять мою жизнь тронуло меня до глубины души.

Я сердечно благодарю Дэвида Куна, убедившего меня, что пришло время написать мемуары, и ставшего моим неустанным гидом в литературном мире, а также благодарю Николь Туртелот.

Спасибо моему издателю Молли Штерн за то, что она открыла свое сердце моей истории и увидела в ней потенциал.

Я более чем признательна моему редактору Тришии Боцковски за ее блестящие комментарии, постоянную поддержку и за понимание моего славянского чувства юмора.

Мне было отрадно работать с высокопрофессиональной, полностью посвящающей себя делу командой Краун Аркетайп: Дэвид Дрейк, Пенни Симон, Джесси Айлен, Джули Кеплер, Мэтью Мартин, Кристофер Брэнд, Элизабет Рендфлиш, Роберт Сик, Кевин Гарсиа, Аарон Блэнк и Уэйд Лукас.

Это благословение – работать с жизнерадостными и страстными членами моей команды в ООО «Абрамович»: Джулиано Аргенциано, Элисон Брейнард, Кэси Куцавлес, Поли Мукай-Хэйдт и Хьюго Хуэрта; и в Институте Марины Абрамович: Серж Ле Борнь, Танос Аргиропулос, Билли Жао, Паула Гарсиа и Линси Пейзинджер.

Я хочу поблагодарить галереи, которые поддерживают мое искусство, о котором вы читаете в этой книге: Галерея Шона Келли, Нью-Йорк; Галерея Лиссон, Лондон; Галерея Лиан Румма, Неаполь и Милан; Галерея Лучианы Брито, Сан-Паулу; Арт Берчи и Компания, Женева; Галерея Кринцингер, Вена; Галерея Брандstrup, Осло.

Я надеюсь, что, читая строки этой книги, мой брат Велимир, его дочь Ивана и три моих крестника, Владка, Антонио и Немо, будут лучше понимать некоторые из принятых мной решений и сделанные в жизни выборы.

Спасибо Дэйву Гиббонсу за его неоценимую духовную поддержку в профессиональной и личной жизни, а также Рите Капаса за дружбу и сестринскую любовь.

Спасибо чудесным людям, которые помогали мне оставаться здоровой долгое время, в том числе и в ходе написания этой книги: доктор Дэвид Орендрих, доктор Линда Ланкастер, доктор Рада Гопалан, мой личный тренер Марк Дженкинс и мой массажист Сара Фолкнер.

Мои пути пересеклись со столькими важными для меня людьми – если бы только здесь было достаточно места, чтобы указать их всех.

И последнее: я надеюсь, что эта книга вдохновит и научит каждого, что не существует непреодолимых преград, если вы стремитесь к своей цели и любите то, что вы делаете.

Глава 1

Однажды утром мы с бабушкой пошли в лес. Было красиво и тихо. Мне было всего четыре года, я была совсем маленькой. Вдруг я увидела что-то очень странное – прямую линию поперек дороги. Мне стало любопытно, и я подошла поближе, мне захотелось до нее дотронуться. И в этот момент моя бабушка закричала, да так громко. Я очень четко это помню. То была огромная змея.

Впервые в жизни в тот момент я почувствовала страх, но понятия не имела, чего следовало бояться. На самом деле меня напугал голос бабушки. А змея быстро уползла.

Невероятно, как твои родители и окружение встраивают в тебя страх. А ты столь невинен вначале, что даже не подозреваешь об этом.

Я в Белграде. 1951

Я родом из мрачных мест. Послевоенная Югославия с середины 1940-х по середину 1970-х. У власти коммунистический диктатор маршал Тито. Постоянная нехватка всего и серость повсюду. Есть что-то в коммунизме и социализме – особая эстетика, основанная на уродливости. В Белграде моего детства не было даже монументальности московской Красной площади. Все было каким-то вторичным. Как будто лидеры страны посмотрели на чей-то коммунизм через линзу и построили что-то еще менее симпатичное и более провальное.

Я помню эти коммунальные пространства, выкрашенные в грязный зеленый цвет, голые лампочки, светящие серым светом, от которого под глазами

образовывались тени. Этот свет вместе с цветом стен делал кожу каждого желто-зеленой, будто все были больны чем-то желудочным. Что бы ты ни делал, во всем присутствовало ощущение угнетения и депрессивности.

В этих массивных уродливых блочных домах жили целыми семьями. Молодым никогда не давали свое жилье, поэтому в каждой квартире жило несколько поколений – бабушка и дедушка, молодая пара, а потом их дети. Это создавало неизбежные сложности – все эти семьи, набитые в очень маленькие пространства. Молодые вынуждены были идти в кино или в парк, чтобы заняться сексом. А о том, чтобы купить что-то новое или красивое, и речи быть не могло.

Шутка тех коммунистических времен. Человек выходит на пенсию, и за выдающиеся трудовые достижения его награждают не часами, а новой машиной. Ему говорят: «Вы – счастливчик! Вы получите свою машину в такой-то день через двадцать лет!» Он спрашивает: «А утром или после обеда?» Официальный представитель удивляется: «А какая вам разница?» – «Ко мне сантехник должен прийти в этот день», – отвечает человек.

Моей семье не пришлось пройти через все это. Родители были героями войны, воевали против нацистов в составе югославских партизан-коммунистов под руководством Тито, поэтому после войны они стали членами партии и получили важные посты. Отец был назначен в элитную гвардию маршала, мать стала директором института, осуществлявшего надзор за историческими памятниками и приобретавшего произведения искусства для общественных зданий. Она также была директором Музея искусства и революции. Благодаря этому мы пользовались большим количеством привилегий. Мы жили в большой квартире в центре Белграда – улица Македонская, дом 32. Это был большой дом в старинном стиле, 1920 года постройки, с элегантными железными конструкциями и стеклами, как в парижских квартирах. Мы занимали целый этаж, восемь комнат на четверых – мои родители, мой брат и я, в то время это было неслыханно. Четыре спальни, столовая, огромный салон (так мы называли гостиную), кухня, две ванные комнаты и комната для прислуги. В салоне стояли шкафы, полные книг, большой черный рояль, а стены были завешаны картинами. Из-за того, что мама была директором Музея революции, она могла посещать студии художников и покупать их холсты – картины, написанные под влиянием Сезанна, Боннара, Виллара, а также много абстрактных работ.

В молодости я считала, что наша квартира была верхом роскоши. Потом я узнала, что она принадлежала богатой еврейской семье и была конфискована во

время нацистской оккупации. Позже я также поняла, что картины, развешанные мамой по стенам нашей квартиры, были не очень хорошими. Оглядываясь назад, я думаю, что наш дом был ужасным местом по этой и по другим причинам.

Мои родители Даница и Войин Абрамович. 1945

У моей матери Даницы и отца Войина, известного как Войо, был невероятный роман во время Второй мировой войны. Изумительная история: она была прекрасна, он был красив, и каждый спас жизнь другого. Мама была майором и командовала отрядом на передовой, который находил раненых партизан и доставлял их в безопасное место. Но однажды во время немецкого наступления она заболела тифом. Она была в бессознательном состоянии, у нее был жар, почти полностью накрытая простынкой, она лежала среди тяжелораненых.

Она могла бы легко умереть там, если бы мой отец не был любителем женщин. Увидев длинные волосы, торчащие из-под простынки, он приподнял ткань, чтобы взглянуть на ее лицо. Когда он увидел, как красива она была, то отнес ее в безопасное место в деревню неподалеку, где ее выходили крестьяне.

Спустя шесть месяцев она вернулась на фронт снова доставлять раненых солдат в госпиталь. Там в одном из смертельно раненных она мгновенно узнала человека, спасшего ее. Мой отец умирал от кровопотери, крови для переливания не было. Выяснилось, что у них с мамой одна группа крови, она стала его донором и так спасла ему жизнь.

Как в сказке. Потом война вновь их разлучила.

Но они снова нашли друг друга и, когда война закончилась, поженились. В следующем году родилась я – 30 ноября 1946 года.

Накануне ночью маме приснилось, что она родила гигантскую змею. На следующий день во время заседания ячейки партии у нее отошли воды. Она отказалась прерывать совещание и поехала в больницу, только когда встреча завершилась.

Я родилась раньше срока, роды были тяжелыми. Плацента вышла не до конца, и у матери начался сепсис. Она снова чуть не умерла и пролежала в больнице почти год. Еще долго после этого ей было сложно продолжать работать и воспитывать меня.

Первое время обо мне заботилась горничная, работавшая в нашем доме. У меня было плохое здоровье, я мало ела и была кожа да кости. У горничной был сын того же возраста, что и я, которому она скармливала все, что я не съела. Мальчик стал большим и толстым. Когда к нам в гости пришла моя бабушка Милица, мать моей матери, и увидела, какой тощей я была, она ужаснулась. Она тут же забрала меня к себе, я прожила у нее шесть лет, пока не родился мой брат. Родители навещали меня только по выходным. Для меня они были незнакомцами, появлявшимися раз в неделю с подарками, которые мне не нравились.

Говорят, ходить я не любила. Бабушка сажала меня на стул за кухонный стол, уходила на рынок, а когда возвращалась, я сидела на том же месте. Не знаю, почему я отказывалась ходить. Мне кажется, это могло объясняться тем, что меня все время передавали из одних рук в другие. Я ощущала себя лишней, может быть, мне казалось, если я пойду, то снова лишусь обретенного места.

Проблемы в отношениях родителей начались практически сразу, возможно, еще до моего рождения. Их свела невероятная история любви и привлекательная внешность – их свел вместе секс, – но много всего остального развело их. Мама была интеллектуалкой из состоятельной семьи, училась в Швейцарии. Бабушка рассказывала, что, когда моя мама ушла из дома, чтобы примкнуть к партизанам, она оставила шестьдесят пар обуви, взяв с собой только крестьянские ботинки.

Семья моего отца была бедной, но они были героическими военными. Его отец, майор, был отмечен наградами. А сам папа до войны сидел в тюрьме за коммунистические идеи.

Для мамы же коммунизм был абстрактной идеей, чем-то, о чем она узнала в Швейцарии, изучая Маркса и Энгельса. Стать партизанкой было для нее идеологическим и даже модным выбором. А для отца это был единственный путь, потому что он вышел из бедной, к тому же военной семьи. Он был настоящим коммунистом. Он верил, что коммунизм может изменить классовую

систему.

Мама любила ходить на балет, в оперу, на концерты классической музыки. Папа любил жарить поросят и пить со своими товарищами из партизанского движения. То есть общего у них не было практически ничего. Это привело к очень несчастливому браку. Они все время ругались.

Неравнодушие отца к женщинам, когда-то сведшее их с матерью, тоже сыграло в этом свою роль.

С самого начала их брака он изменял ей. Мать ненавидела это, а вскоре возненавидела и его самого. Естественно, я об этом ничего не знала, пока жила с бабушкой. Но когда мне исполнилось шесть и родился мой брат Велимир, меня забрали обратно. Новые родители, новый дом, новый брат, и все одновременно. И практически сразу моя жизнь стала хуже.

Я помню, мне так хотелось назад к бабушке, потому что там я чувствовала себя в безопасности. Там было так спокойно. Все эти ее утренние и вечерние ритуалы придавали дню особый ритм. Бабушка была очень религиозной, и вся ее жизнь строилась вокруг церкви. Каждое утро в шесть часов она зажигала свечку и молилась. А в шесть вечера она зажигала другую свечку и снова молилась. Я ходила с ней в церковь каждый день, пока жила с ней, и выучила всех святых. В ее доме всегда пахло ладаном и свежесваренным кофе. Она жарила зеленые кофейные зерна и потом вручную молола их. Я ощущала глубокое чувство умиротворения в ее доме.

Когда я начала снова жить с родителями, мне стало не хватать этих ритуалов. Мать с отцом работали весь день, оставляя меня с горничными. К тому же я очень ревновала к брату. Он был мальчиком, первым сыном, он мгновенно стал фаворитом. Так заведено на Балканах. У родителей моего отца было семнадцать детей, но его мать держала при себе только фотографии сыновей, дочерей – никогда. Рождение моего брата было воспринято как великое событие. Позже я узнала, что, когда родилась я, отец даже не сказал об этом никому, когда же родился Велимир, Войо гулял с друзьями, выпивал, палил в воздух и потратил много денег.

И что еще хуже, вскоре у брата развилась форма детской эпилепсии – у него начались приступы, и все стали порхать вокруг него и уделять ему еще больше

внимания. Однажды, когда никто не следил (мне было тогда шесть или семь), я попыталась помыть его и чуть не утопила; я положила его в ванну, а он бултыхнулся и ушел под воду. Если бы бабушка его не вытащила, я была бы единственным ребенком в семье.

Я, моя тетя Ксения, бабушка Милица и мой брат Велимир. 1953

Конечно, меня наказали. Наказывали меня часто, за малейшие провинности, и наказывали, применяя физическую силу, – били и давали пощечины. Наказывали меня мать и ее сестра Ксения, которая одно время жила с нами, отец – никогда. Они избивали меня до посинения, у меня были повсюду синяки. Иногда они применяли и другие методы. В нашей квартире был потайной гардероб, глубокая и темная кладовка – на сербскохорватском «плакар». Поверхность двери была вровень с поверхностью стены, и не было ручки, чтобы ее открыть, нужно было толкать. Я была очарована этой кладовкой и одновременно боялась ее. Ходить туда было запрещено. Но когда я вела себя плохо или когда тетя и мама говорили, что я вела себя плохо, меня запирали в этой кладовке.

Я очень боялась темноты. Но этот плакар был наполнен привидениями и духами – светящимися созданиями, бесформенными, тихими и совсем нестрашными. Я разговаривала с ними. Для меня их присутствие не было сверхъестественным. Они просто были частью моей реальности, моей жизни. И как только я включала свет, они исчезали.

~

Мой отец, как я уже говорила, был очень симпатичным мужчиной с сильными, суровыми чертами и густой гривой, придающей ему властный вид. Героическое лицо. На военных фотографиях он практически всегда заснят на белом коне. Он сражался в составе 13-й Черногорской дивизии, отряда головорезов, осуществлявших молниеносные рейды к немцам, – это требовало невероятной отваги. Многие его друзья были убиты на его глазах.

Войо в день освобождения. Белград, 1944

Его младший брат был взят нацистами в плен и замучен до смерти. Головорезы моего отца схватили солдата, убившего его брата, и привели к нему. Мой отец не застрелил его. Он сказал: «Никто не может вернуть моего брата к жизни» – и отпустил того солдата. Он был воином и глубоко этически относился к сражению.

Мой отец никогда не наказывал меня ни за что, никогда не бил, и я полюбила его за это. И несмотря на то что он много времени проводил в военных командировках, пока мой брат был маленьким, постепенно мы с Войо стали друзьями. Он всегда делал для меня приятные вещи. Я помню, как он водил меня на карнавалы и покупал конфеты.

В такие выходы мы редко бывали с ним наедине, его обычно сопровождала одна из подружек. Подружка покупала мне чудесные подарки, которые я, счастливая, приносила домой, говоря: «О, прекрасная дама со светлыми волосами купила мне все это». Моя мама выбрасывала всё в окно.

Папа и я. 1950

Брак моих родителей был похож на войну – я никогда не видела их целующимися, обнимающимися или выказывающими друг другу симпатию. Может быть, эта привычка осталась с партизанских времен, но они спали с пистолетами на прикроватных тумбочках! Я помню, как однажды, в тот редкий период, когда они разговаривали друг с другом, отец пришел домой на обед, и мама спросила его: «Будешь суп?» И когда он ответил утвердительно, она подошла сзади и вылила горячий суп ему на голову. Он закричал, оттолкнул стол, перебил всю посуду и убежал. Это напряжение было всегда. Они никогда не разговаривали. У нас никогда не было рождественских праздников, когда бы все были счастливы.

Мы вообще не праздновали Рождество, потому что были коммунистами. Но моя бабушка была очень религиозной и отмечала православное Рождество 7 января. Это было чудесно и ужасно. Чудесно, потому что она готовилась к нему во всех деталях в течение трех дней – специальная еда, украшения, все. Но она была вынуждена завешивать окна черными шторами, потому что праздновать Рождество в те дни в Югославии было опасно. Шпионы составляли списки семей, собирающихся по праздникам, потому что правительство награждало за доносы. Мы по одному приезжали к бабушке и отмечали Рождество за закрытыми шторами. Бабушка была единственной, кто был способен собрать и объединить мою семью. Это было прекрасно.

И традиции были красивы. Каждый год бабушка пекла сырный пирог и запекала в нем серебряную монету. Если тебе попадалась монета и зуб не ломался, это означало удачу. Монету нужно было хранить до следующего года. Бабушка также посыпала нас рисом – считалось, кому достанется больше риса, тому достанется больше процветания в следующем году.

Ужаснее всего было то, что родители не разговаривали друг с другом даже в Рождество. И каждый год я получала в подарок что-то полезное, но что мне совсем не нравилось. Шерстяные носки, или какие-то книжки, которые мне надо было прочитать, или фланелевую пижаму. Пижамы всегда были на два размера больше – мама говорила, она сядет после стирки, но этого никогда не происходило.

Я никогда не играла в куклы. Мне никогда и не хотелось кукол. Я вообще не любила игрушки. Я предпочитала играть с тенями машин на стене или лучом света из окна. Свет делал видимыми частички пыли в воздухе, и я воображала, что это маленькие планеты с галактическими пришельцами, прилетевшими к нам в гости. А в плакаре жили светящиеся существа. Мое детство было наполнено духами и невидимками. Я могла видеть тени и мертвых людей.

~

Одним из моих самых больших страхов был страх крови – моей собственной. Когда я была маленькой и мать с тетей били меня, у меня повсюду были синяки, а из носа постоянно текла кровь. А когда у меня выпал первый молочный зуб, кровотечение не прекращалось три месяца. Мне приходилось спать сидя, чтобы

не захлебнуться. В конце концов родители отвели меня к врачу, и выяснилось, что у меня заболевание крови. Сначала подозревали лейкемию. Отец с матерью положили меня в больницу, где я провела почти год. Мне было шесть лет. Это был самый счастливый период моего детства.

Мои родственники были добры ко мне. Они приносили мне хорошие подарки, желали, чтобы я поправлялась. Все в больнице тоже были милы. Это был рай. Врачи продолжали брать анализы и выяснили, что у меня была не лейкемия, но что-то мистическое – возможно, психосоматическая реакция на побои мамы и тети. Меня сначала лечили, а потом отправили домой, где побои продолжились, ну, может быть, стали немного реже.

От меня ожидалось безропотное принятие наказания. Я думаю, что в каком-то смысле мама делала из меня солдата, как она сама. Она могла быть неоднозначным коммунистом, но в жестокости ей не откажешь. Настоящие коммунисты обладали решимостью, позволяющей им проходить сквозь стены, – спартанской решимостью. «Боль, я могу терпеть боль, – сказала Даница мне впоследствии в интервью. – Никто никогда не слышал и не услышит, как я кричу». В кабинете стоматолога она настаивала, чтобы зуб ей тащили без анестезии.

Самодисциплине я научилась у нее и всегда ее боялась.

Мать была одержима порядком и чистотой, отчасти благодаря своему военному прошлому, а с другой стороны, возможно, так она реагировала на хаос в ее браке. Она могла разбудить меня посреди ночи, если считала, что у меня простыни в беспорядке. Я до сих пор сплю на одной половине кровати, абсолютно неподвижно. Когда я просыпаюсь утром, мне остается только накрыть постель покрывалом. Когда я сплю в отеле, мое присутствие там даже незаметно.

Я также узнала, что имя мне дал папа, и назвал он меня в честь девушки-солдата, в которую был влюблен на войне. Ее разорвало гранатой у него на глазах. Маму эта привязанность возмущала и обижала до глубины души, и, по ассоциации, я думаю, она испытывала такие же чувства ко мне.

Моя мать во время визита болгарской делегации. Белград, 1966

Зацикленность Даницы на порядке проникла в мое бессознательное. Меня постоянно мучил кошмар про симметрию, очень тревожный сон. В этом сне я была генералом, инспектирующим длинную линию идеальных солдат. Потом я убирала пуговицу с формы одного солдата, и весь порядок рушился. Я просыпалась в абсолютной панике. Я так боялась нарушить симметрию.

В другом повторяющемся сне я входила в салон самолета, в котором не было ни одного пассажира. Все ремни безопасности были аккуратно уложены, за исключением одного. И при виде его меня охватывала паника, как будто в этом была моя вина. В том сне я всегда была виноватой в нарушении симметрии, что было непозволительно, и некая высшая сила наказывала меня за это.

Я считала, что мое рождение нарушило симметрию родительского брака – их отношения стали ужасными и жестокими после моего рождения. И мать всю мою жизнь говорила, что я такая же, как отец, который ушел. Симметрией и порядком мать была одержима так же сильно, как и искусством.

С шести или семи лет я уже знала, что хочу быть художницей. Мать наказывала меня за многое, но в этом отношении вдохновляла. Искусство было для нее святым. И поэтому в нашей огромной квартире у меня была не только своя комната, но и своя студия. И в то время как вся остальная квартира была захламлена разными вещами, картинами, книгами, мебелью, свои комнаты я с ранних лет содержала в спартанских условиях. Настолько пустыми, насколько было возможно. В спальне были только кровать, стул и стол. В студии – только мольберт и краски.

Мои первые картины были о моих снах. Они были для меня реалистичнее, чем реальность, в которой я жила, – реальность мне не была симпатична. Я помню, как просыпалась, а воспоминания о снах были такими явными, что я сначала их записывала, а потом рисовала. Рисовала я двумя определенными цветами – темно-зеленым и темно-синим. Другими – никогда.

Эти цвета меня особенно привлекали – не знаю почему. Сны для меня были зелено-синими. Из старых штор я сделала себе длинное платье ровно этих цветов, цветов моих снов.

Одежда, которую я сделала из штор. 1960

Такая жизнь кажется привилегированной, и в каком-то смысле она была такой – в коммунистическом мире серости и лишений я жила в роскоши. Я никогда не стирала свою одежду. Я никогда не гладила. Никогда не готовила. Мне в жизни не приходилось убирать комнату. Все делали за меня. И все, что требовалось от меня, – учиться и быть лучшей.

Я брала уроки фортепьяно, английского, французского. Моя мама была фанаткой французской культуры – все французское было прекрасным. Мне очень повезло. Но посреди этой роскоши я была совсем одна. Единственная моя свобода была в свободе выражения. На рисование деньги были, на одежду – нет. На то, чего мне действительно так хотелось в юном возрасте, денег не было.

Тем не менее, если мне хотелось книгу, я ее получала. Если я хотела пойти в театр, я получала билет. Если я хотела послушать классическую музыку, мне предоставлялись записи. И вся эта культура не просто предлагалась мне, а впихивалась в меня. Мать, уходя на работу, оставляла записки, сколько предложений на французском мне нужно выучить, какие книжки прочитать, – все было спланировано.

По приказу матери я должна была прочитать всего Пруста от начала до конца, всего Камю, Андре Жида; отец хотел, чтобы я прочитала всех русских писателей. Но даже по принуждению книги были моим спасением. Как и со снами, реальность книг была сильнее реальности вокруг.

Когда я читала, все вокруг переставало существовать. Все несчастья моей семьи – горечь родительских распрей, глубокая бабушкина печаль по поводу того, что у нее все отняли, – исчезали. Я сливалась с персонажами воедино.

Мне нравились экстремальные истории. Я любила читать про Распутина, которого не могла убить ни одна пуля; коммунизм, замешенный на мистицизме, был у меня в генах. Никогда не забуду странный рассказ Камю «Ренегат» – про

миссионера, собиравшегося обратить в свою веру племя, которое в итоге обратило его в свою. Когда он нарушил одно из их правил, они отрезали ему язык.

Меня невероятно увлекал Кафка. Я просто проглотила «Замок» – я на самом деле чувствовала, как живу внутри этой книги. Кафка каким-то сверхъестественным образом вовлекал в бюрократический лабиринт, по которому пытался пройти главный персонаж К. Это было агонизирование: выхода не было. Я страдала вместе с К.

Читать Рильке, напротив, было как дышать чистым поэтическим кислородом. Он говорил о жизни так, как я и не могла помыслить до этого. Его выражение космических страданий и универсального знания было связано с идеями дзен-буддизма и суфизма, которые я раскрыла для себя позже. Впервые наткнувшись на них, я уже была пропитана ими насквозь:

«Не этого ли, земля, ты хочешь? Невидимой в нас

Воскреснуть? Не это ли было

Мечтой твоей давней? Невидимость! Если не преображенья,

То чего же ты хочешь от нас?»[1 - Р.-М. Рильке. Элегия девятая. Перевод В. Микушевича.]

Единственным хорошим подарком, который подарила мне мать, была книжка «Письма 1926 года» – переписка Рильке, русской поэтессы Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, автора «Доктора Живаго». Эти трое никогда не встречались, но восхищались произведениями друг друга и в течение четырех лет писали и отсылали друг другу сонеты. По этой переписке они страстно влюбились друг в друга.

Можете ли вы представить, что означало для одинокой пятнадцатилетней девочки наткнуться на такую историю? (А тот факт, что мое имя совпадало с именем Цветаевой, казалось мне, был космически значимым.) В любом случае дальше произошло то, что Цветаева стала больше влюбляться в Рильке, чем в Пастернака, и написала Рильке, что хочет приехать в Германию для встречи с ним. «Вам нельзя, – написал в ответ Рильке. – Вам нельзя встречаться со мной».

Это лишь распалило ее страсть. Она продолжила писать, настаивая на встрече. В конце концов он написал: «Вам нельзя встречаться со мной – я умираю».

«Я запрещаю вам умирать», – ответила она. Но он все равно умер, и треугольник распался.

Цветаева и Пастернак продолжили писать сонеты друг другу, она – в Москве, он – в Париже. Потом она была вынуждена покинуть Россию – из-за того, что была замужем за белым офицером, которого коммунисты хотели посадить за решетку. Она уехала на юг Франции, но когда деньги закончились, была вынуждена вернуться в Россию. С Пастернаком они решили, что она сделает остановку на Лионском вокзале в Париже по пути домой и они наконец-то встретятся, впервые после четырех или пяти лет этой страстной переписки.

Оба невероятно нервничали, когда наконец-то встретились. У нее был старый русский чемодан, настолько набитый вещами, что постоянно открывался. Видя, как она пытается его закрыть, Пастернак бросился за веревкой, нашел ее и связал чемодан.

Они сидели там, практически не в силах говорить – письма завели их так далеко, что, когда они оказались рядом, эмоции захлестнули. Пастернак сказал, что пойдет за сигаретами, ушел и уже больше не вернулся. Цветаева осталась ждать и ждала, пока не пришел ее поезд. Она взяла чемодан, который починил Пастернак, и уехала в Россию.

Она вернулась в Москву. Ее муж сидел в тюрьме, денег у нее не было. Поэтому она отправилась в Одессу и там в отчаянных попытках выжить написала письмо в литературное общество с просьбой взять ее в уборщицы. Ей ответили, что в ее услугах не нуждаются. И она, воспользовавшись той же веревкой, которой Пастернак скрепил ее чемодан, повесилась.[2 - Эта история запомнилась Марине Абрамович не совсем верно. На самом деле Марина Цветаева вернулась в СССР в 1939 году вслед за мужем Сергеем Эфроном и дочерью Ариадной, которые вскоре были арестованы. Сама Цветаева в начале войны была эвакуирована в Елабугу и пыталась найти работу судомойки в столовой Литфонда в Чистополе. Повесилась она 31 августа 1941 года в Елабуге, в том самом доме, куда была определена на постой. (Прим. ред.)]

Когда мне попадались такие книги, я не выходила из дома, пока не дочитывала до конца. Я доходила до кухни, ела, возвращалась в комнату и продолжала читать, позже снова шла есть и возвращалась обратно. Только так. Целыми днями.

~

Когда мне было двенадцать или около того, моя мама обзавелась швейцарской стиральной машиной. Это было целое событие – мы были одной из первых семей в Белграде, у кого появилась такая машина. Прибыла она однажды утром, сияющая, новая и таинственная, и ее поставили в ванную. Бабушка ей не доверяла. Она стирала в ней, а потом доставала оттуда белье и просила горничную постирать его вручную еще раз.

Как-то утром, когда не нужно было идти в школу, я просто сидела в ванной, уставившись на эту пленительную машину, перемешивающую одежду с монотонным звуком – ДЫН-ДЫН-ДЫН-ДЫН. Я была загипнотизирована. У машины был автоматический отжим и два резиновых валика, медленно крутившихся в противоположных направлениях, пока белье перемешивалось в машинке. Я начала баловаться с этим механизмом – вставлял палец между валиками и быстро отдергивать.

В какой-то момент я не успела выдернуть палец, и валики начали затягивать его, сжимая. Боль была невыносимой, и я закричала. Бабушка была на кухне, услышав меня, она прибежала в ванную, но, мало зная про технику, она не догадалась просто выдернуть шнур из розетки. Вместо этого она решила искать помощи на улице. А тем временем валики затягивали мою руку дальше.

Мы жили на третьем этаже, бабушка была женщиной тучной, спуск и обратный подъем заняли у нее какое-то время. Она вернулась с молодым мускулистым мужчиной, а к тому времени медленно крутившиеся валики уже затянули мое предплечье.

Парень тоже плохо был знаком с техникой, и выдернуть шнур ему в голову тоже не пришло – чтобы спасти меня, он решил применить силу. Используя всю свою мощь, он разжал валики и получил такой невероятный электрический шок, что его отбросило на другой край ванной комнаты, где он упал без сознания. Я тоже упала на пол, моя рука была синей и распухла.

В это время домой пришла мать, она сразу все поняла; вызвала «Скорую», а потом отвесила мне огромную оплеуху.

~

Изучение партизанской истории было очень важным предметом в школе во времена моего детства. Мы были обязаны знать имя каждого участника битвы, каждую речку и мост, которые пересекали солдаты. Ну и конечно, мы должны были знать про Сталина, Ленина, Маркса и Энгельса. В каждом общественном пространстве в Белграде висел огромный портрет маршала Тито, а слева и справа от него – портреты Маркса и Энгельса.

В возрасте семи лет ты вступал в пионеры, становясь таким образом частью партии. Тебе давали красный галстук, который должен был быть всегда выглажен, а когда ты его снимал, лежать он должен был у изголовья твоей кровати. Мы учились маршировать, петь коммунистические песни, верить в будущее нашей страны и т. д. Я помню, как гордилась этим галстуком и тем, что была пионером и частью партии. Я была в ужасе, когда однажды узнала, что отец, у которого волосы всегда были хорошо уложены, использовал мой пионерский галстук в качестве банданы для придания формы прическе.

Большое значение имели парады, и дети тоже были обязаны в них участвовать. Мы праздновали 1 Мая – это был международный праздник всех коммунистов – и 29 ноября – день, когда Югославия стала республикой. Все дети, родившиеся 29 ноября, могли встретиться с Тито и получить от него в подарок конфеты. Мама сказала мне, что я родилась 29-го, но не разрешала ходить за конфетами. Она говорила, что я недостаточно хорошо себя веду для такой привилегии. Это был еще один метод наказания. Спустя несколько лет, когда мне было десять, я узнала, что родилась 30 ноября, а не 29-го.

~

Месячные у меня начались, когда мне было двенадцать, и длились десять дней – было столько крови. Кровь текла и текла – красная жидкость, выливающаяся из моего тела без остановки. Я была этим так напугана, при всех моих детских воспоминаниях о неконтролируемых кровотечениях и лежании в больнице. Я

думала, я умираю.

Что такое менструация, мне объяснила наша горничная Мара, а не моя мать. Мара была доброй округлой женщиной с большой грудью и пухлыми губами. Когда она тепло обняла меня, чтобы рассказать, что происходило с моим телом, я вдруг странным образом очень сильно захотела поцеловать ее в губы. Поцелуя не случилось, случился конфуз – желание не было взаимным. Но мое тело вдруг наполнилось противоречивыми ощущениями. Тогда же я начала мастурбировать, часто и всегда с глубоким ощущением стыда.

С половой зрелостью ко мне пришли первые мигрени. Моя мать тоже от них страдала. Раз или два в неделю она приходила с работы рано и запиралась в своей комнате в темноте. Бабушка клала ей на голову что-то холодное – замороженный кусок мяса, картошку или огурец, – и всем было запрещено производить какие-либо звуки в квартире. Даница, конечно, никогда не жаловалась – такова была ее спартанская решимость.

Я не могла проверить, насколько болезненными были мои мигрени, – мать никогда не рассказывала про свои и никогда не проявляла сочувствия ко мне. Приступы длились целые сутки. Я лежала в постели, изредка выбегая в ванную, чтобы поплевать и опорожнить кишечник одновременно. От этого боль только усиливалась. Я приучала себя лежать неподвижно в определенной позе – рука на лбу, ноги полностью вытянуты, голова наклонена определенным образом. Казалось, это немного облегчало агонию. Так я начала учиться принимать и преодолевать боль и страх.

Примерно в то же время в шкафу под простынями я обнаружила документы о разводе родителей. Но еще три года они продолжали жить вместе, в аду, продолжая спать в одной спальне с пистолетами у изголовья. Ужаснее всего было, когда отец возвращался домой посреди ночи, мать приходила в бешенство, и они начинали лупить друг друга. Потом она прибегала в мою спальню, выдергивала меня из постели и держала перед собой как щит, чтобы он прекратил ее бить. Она никогда не выволакивала моего брата, всегда только меня.

Мой брат Велимир. 1962

Даже сейчас я не переношу, когда кто-то повышает голос со злости. Когда это происходит, я просто столбенею. Как будто от инъекции – я просто не могу пошевелиться. Это автоматическая реакция. Я могу разозлиться и сама, но на то, чтобы начать кричать от злости, мне нужно время. Это требует огромных затрат энергии. Я иногда кричу в своих работах, это один из способов избавиться от собственных демонов. Но это не то же самое, что кричать на кого-то.

Мой отец продолжал быть мне другом, а мать все больше становилась врагом. Когда мне было четырнадцать, она стала югославским послом ЮНЕСКО в Париже, и ей приходилось оставаться там месяцами. Когда она уехала в первый раз, отец принес в гостиную большие гвозди, взобрался на стремянку и забил их в потолок. Штукатурка была везде! На гвозди он повесил качели для нас с братом – мы были в восторге. Мы были на небесах – это была абсолютная свобода. Мать вернулась и взорвалась, увидев это. Качели сняли.

На мой четырнадцатый день рождения отец подарил мне оружие. Это был красивый маленький пистолет с рукояткой цвета слоновой кости и серебряным стволом с гравировкой. «Чтобы носить в твоей сумочке», – объяснил он. Я так никогда и не поняла, шутил он или нет. Он хотел, чтобы я научилась стрелять, поэтому я пошла в лес и пару раз выстрелила, потом случайно уронила пистолет в глубокий снег. Найти его я уже не смогла.

Еще, когда мне было четырнадцать, отец взял меня с собой в стрип-клуб. Это было дико непозволительно, но я не задавала вопросов.

Я хотела нейлоновые чулки, запретную вещь, по понятиям моей матери, – только проститутки носили такие. Отец купил мне чулки. Мать выбросила их в окно. Я знала, что с его стороны это была взятка, чтобы я любила его и не рассказывала матери о его выходках, но мать и так знала обо всем.

Она запрещала нам с братом приводить домой друзей, потому что до смерти боялась микробов. Мы были такими стеснительными, другие дети дразнили нас.

Однажды моя школа участвовала в программе обмена учениками с Хорватией. Я жила у хорватской девочки в Загребе – у нее была самая замечательная семья.

Ее родители любили друг друга и своих детей, во время еды они вместе садились за стол, разговаривали и много смеялись. Потом девочка приехала в мою семью – и я была в ужасе. Мы не разговаривали. Мы не смеялись. Мы даже не собирались вместе. Мне было так стыдно за себя, за свою семью, за полное отсутствие любви в моем доме – это чувство стыда было сжигающим, словно ад.

В четырнадцать я позвала домой одного мальчика из школы, с которым дружила, сыграть в русскую рулетку. Дома никого не было. Мы сели в библиотеке за стол напротив друг друга. Я взяла из тумбочки папин револьвер, вынула все пули, кроме одной, прокрутила барабан и передала другу. Он приставил дуло к виску и нажал на курок. Мы услышали лишь щелчок. Он передал револьвер мне. Я прижала его к виску и нажала на курок. Снова лишь щелчок. Потом я направила револьвер на книжный шкаф и нажала на курок. Раздался сильный взрыв, пуля пролетела через всю комнату и воткнулась в корешок «Идиота» Достоевского. Через минуту я почувствовала холодный пот и тряслась не переставая.

~

Подростковый период моей жизни был несчастным и неловким до отчаяния. Я была самым гадким ребенком в школе, экстраординарно некрасивым. Худая и высокая, дети звали меня Жирафой. Я была вынуждена сидеть за последней партой из-за своего роста, но ничего не могла оттуда увидеть и получала плохие оценки. В итоге стало понятно, что мне нужны очки. И речь не о нормальных очках. То были отвратительные очки производства коммунистической страны, с толстыми стеклами и тяжелой оправой. Поэтому я пыталась их сломать – клала на стул и садилась на них. Или я оставляла очки на подоконнике и «случайно» захлопывала окно.

Мать никогда не покупала мне одежду, как у других детей. Одно время были популярны нижние юбки, и мне до смерти хотелось иметь такую, но она мне ее не купила. И не потому, что не было денег. Деньги были. У родителей было больше денег, чем у кого бы то ни было, потому что они были партизанами, коммунистами, красной буржуазией. Чтобы создать впечатление, что на мне нижняя юбка, я надевала шесть-семь обычных юбок. Но всегда что-то было не так – то какая-нибудь юбка торчала из-под другой, то юбки падали.

С отцом, в импровизированной нижней юбке. 1962

Еще были ортопедические туфли. Из-за плоскостопия я была вынуждена носить специальную обувь – не просто какие-то корректирующие туфли, а ужасные социалистические ботинки из тяжелой желтой кожи, закрывающие лодыжку. Уродства и тяжести этих ботинок было недостаточно для моей матери, и она сделала у сапожника две железные набойки на них, как у лошади, – чтобы ботинки дольше служили. Когда я в них шла, они издавали такой звук – клип-клоп.

Боже, в этих ботинках «клип-клоп» меня было слышно везде. Мне даже пройти по улице в них было страшно. Если кто-то шел позади меня, я останавливалась у какой-нибудь двери, чтобы пропустить этого человека, – так стыдно мне было. Мне особенно запомнился один первомайский парад, когда моей школе выпала честь маршировать перед самим Тито. Все должно было быть идеально – мы целый месяц оттачивали точность наших движений в школьном дворе. Утром 1 Мая мы собрались перед началом парада, и почти сразу после его начала одна из металлических набоек на моих ботинках слетела, я уже не могла хорошо шагать. Меня тут же вывели из парадной колонны. Я рыдала от стыда и злости.

Итак, представьте, у меня были худые ноги, я носила ортопедические ботинки и отвратительные очки. Мать стригла меня коротко, выше ушей, закалывая волосы невидимками, и одевала в тяжелые шерстяные платья. У меня было детское личико и невероятно большой нос. Нос был размером как у взрослого человека, а лицо – нет. Я чувствовала себя ужасно некрасивой.

Я постоянно спрашивала маму, можно ли подкорректировать мой нос, и каждый раз, когда я спрашивала ее об этом, она давала мне пощечину. И я придумала секретный план.

В то время Брижит Бардо была суперзвездой, а для меня она была идеалом сексуальности и красоты. Мне казалось, что стоит мне сделать такой же нос, как у нее, и все будет хорошо. Я разработала план, который казался мне верхом совершенства. Я вырезала фото Брижит Бардо, снятые со всех ракурсов – анфас, справа, слева, – на которых был виден ее красивый нос, и сложила их в карман.

У моих родителей была огромная деревянная супружеская кровать. Утром, когда отец по обыкновению играл в шахматы в городе, а мать пила кофе с друзьями, я была дома одна. Я пошла в их спальню и закружилась так быстро, как только могла. Я хотела упасть на острый край кровати и сломать себе нос, чтобы меня отвезли в больницу. Фото Брижит Бардо были у меня в кармане, и мне казалось, что врачам не составит труда сделать мне нос, как у нее. По моему мнению, это был идеальный план.

Итак, я закружилась, упала и ударилась о кровать, но не носом. Вместо этого я очень сильно порезала щеку. Я долго лежала на полу, истекая кровью. В итоге домой вернулась мать. Она просканировала ситуацию своим суровым взглядом, выбросила фотографии в унитаз и отвесила мне пощечину. Оглядываясь назад, я так счастлива, что не сломала нос, мое лицо с носом Брижит Бардо было бы катастрофой. К тому же постарела она не очень красиво.

~

Мои дни рождения всегда были грустными, а не счастливыми праздниками. Во-первых, я всегда получала не тот подарок, а потом, моя семья никогда по-настоящему не собиралась вместе и никогда не радовалась. Я помню, в свой шестнадцатый день рождения я так долго плакала, осознав впервые, что умру. Я чувствовала себя такой нелюбимой, брошенной всеми. Я снова и снова слушала Концерт № 21 для фортепиано Моцарта – эта музыка заставляла мою душу кровоточить. И в какой-то момент я перерезала вены. Крови было так много – я думала, что умру. Выяснилось, что порез был глубоким, но не задел жизненно важных артерий. Бабушка отвезла меня в больницу, мне наложили четыре шва; матери она так никогда ничего и не сказала.

Я писала грустные стихи о смерти. Но в моей семье об этом никогда не говорили, особенно в присутствии бабушки. Мы вообще не обсуждали ничего неприятного в ее присутствии. Спустя годы, когда разразилась боснийская война, брат залез на крышу дома, где была квартира бабушки, и начал трясти телевизионную антенну, чтобы бабушка подумала, что с ее телевизором что-то не так, и отдала его в ремонт. Поэтому (а еще потому, что она не выходила из дома) она так никогда и не узнала о войне.

Когда мне было семнадцать, родители устроили вечеринку в честь восемнадцати лет их счастливого брака. Они приготовили ужин и позвали

друзей. Когда гости разошлись, снова началась драма.

Отец пошел на кухню, чтобы что-то убрать, что само по себе было странным, так как он никогда ничего не делал по хозяйству. По какой-то необъяснимой причине он сказал мне: «Давай помоем бокалы для шампанского. Ты вытираешь».

Я взяла полотенце и приготовилась вытирать. Но он случайно разбил первый же бокал, а в этот момент в кухню зашла мама и, увидев на полу осколки, взбесилась. Они только что несколько часов притворялись счастливыми, и все это время она копила злость, горечь и ярость. Увидев на полу бокал, она начала вопить на отца по поводу всего: что он был неуклюжим, что их брак катастрофа, что он изменял ей со столькими женщинами. Он просто стоял, а я просто держала маленькое полотенце в руке.

Она кричала и кричала, а отец молчал. И даже не двигался. Словно в пьесе Беккета. Спустя много минут, оплакивая все дерьмо в их браке, она остановилась, потому что он не отвечал. В конце концов он сказал: «Ты закончила?» И когда она ответила «да», он взял бокал и начал бить их один за другим. Он разбил об пол все одиннадцать бокалов. Потом сказал: «Я не в силах выслушивать это еще одиннадцать раз», – и вышел из дома.

Это было началом конца. Чуть позже он съехал из квартиры. В ту ночь он зашел ко мне в спальню попрощаться и сказал: «Я уйду и больше не вернусь, но мы с тобой будем видеться». Он переехал в отель и больше не вернулся.

На следующий день я рыдала так, что у меня случилось что-то вроде нервного срыва. Вызвали врача, чтобы он мне что-то вколол – сама я не могла остановиться. Я сошла с ума от горя, потому что я всегда чувствовала, что отец любил и поддерживал меня. Я знала, что с его уходом мне будет еще более одиноко и грустно.

Но потом к нам переехала бабушка.

~

Кухня стала центром моего мира – все происходило на кухне. У нас была горничная, но бабушка Милица не доверяла ей и первым делом с утра шла на кухню и перенимала дела. На кухне были печка и большой стол, за который я садилась и болтала с бабушкой о своих снах. Это в основном все, что мы делали вместе. Ее очень интересовали значения снов, она читала их как знаки. Если тебе снилось, что у тебя выпадают зубы, но боли ты не чувствовал, это означало, что знакомый тебе человек умрет. Но если боль ты ощущал, это означало, что умрет кто-то из твоей семьи. Видеть кровь во сне означало скоро получить хорошие вести. Если тебе снилась твоя смерть, это означало, что жить ты будешь долго.

Мать уходила на работу в 7.15 утра, и все расслаблялись. Когда после обеда (ровно в 2.15) она возвращалась, было ощущение, что снова ввели военный порядок. Я всегда боялась сделать что-то не так, боялась, что она заметит, что я сдвинула книжку или нарушила какой-то порядок в доме.

Как-то, когда мы сидели за кухонным столом, бабушка рассказала мне свою историю – мне кажется, со мной она была более открытой, чем с кем-либо.

Мама бабушки была из богатой семьи, но влюбилась в прислугу. Это, конечно, было запрещено, и семья от нее отреклась. Прабабушка со своим возлюбленным уехала в его деревню, и они жили в нищете. Она родила ему семерых детей и, чтобы их прокормить, работала прачкой. Она даже стирала для семьи своих родителей. Те платили ей и иногда давали поесть. Но в доме все равно не хватало еды. Бабушка говорит, что из-за гордыни прабабка всегда ставила на печку четыре горшка. Все это было для вида, на случай, если соседи зайдут в дом. В них она кипятила воду, потому что продуктов не было.

Бабушка была младшей и самой красивой в семье. Однажды, когда ей было пятнадцать, по дороге в школу она заметила мужчину, который смотрел на нее. Когда она пришла домой, мать велела ей сварить кофе, потому что к ней пришли свататься. Так дела делались в то время.

Для семьи бабушки интерес того мужчины был благословением – у них ничего не было, а с замужеством дочери на один рот становилось меньше. И что еще лучше, жених был из городских и богатых, но также был и значительно старше ее – ей было пятнадцать, а ему тридцать пять. Она помнила тот день, когда готовила и несла ему кофе по-турецки, это был первый реальный шанс увидеть лицо будущего мужа. Но она постеснялась даже взглянуть на него. Он обсудил с

родителями свадьбу и ушел.

Через три месяца ее отвезли к месту, где должно было пройти венчание. В пятнадцать лет она вышла замуж и стала жить в доме того человека. Она была еще ребенком, девственницей. Никто никогда не говорил ей о сексе.

Она рассказала, что случилось в первую ночь, когда он попытался заняться с ней любовью. Она закричала «чертов убийца» и бросилась в комнату его матери – они жили все вместе, – там она спряталась в ее постели со словами: «Он хочет убить меня! Он хочет убить меня!» Его мать обнимала ее всю ночь и говорила: «Нет, он не хочет убить тебя, это другое». Она потеряла девственность только три месяца спустя.

У мужа бабушки было два брата. Один служил священником в православной церкви, другой вел бизнес вместе с моим дедом. Они были купцами, импортировали специи, шелк и другие товары с Ближнего Востока. У них были магазины, дома, земельные участки, и они были очень богаты.

Брат дедушки, священник, в итоге стал патриархом югославской православной церкви, вторым по могуществу человеком в стране после короля. В начале 1930-х, когда Югославия была еще монархией, король Александр попросил патриарха объединить православную и католическую церкви. Патриарх отказался.

Король пригласил патриарха и двух его богатых братьев на обед. Они пришли, но изменить свое решение патриарх отказывался.

Тогда им подали еду, в которую была подмешана алмазная крошка. В течение месяца или трех патриарх, мой дедушка и их брат умирали ужасной смертью от внутренних кровотечений. Так моя бабушка овдовела в очень раннем возрасте.

Отношения бабушки и моей матери были странными – плохими. Бабушка сердилась на маму все время, по многим причинам. Перед войной бабушке, богатой вдове, пришлось сесть в тюрьму из-за того, что ее дочь была отъявленной коммунисткой; от тюрьмы ей пришлось откупаться золотом, оставленным ей в наследство. После войны, когда к власти пришли коммунисты, мать, дабы показать свою приверженность партии, отвергла свои притязания на все, чем владели она и ее мать. На самом деле она составила список всего, что принадлежало бабушке, и передала его в коммунистическую партию, потому что

была яркой коммунисткой и это было во благо страны. Так моя бабушка лишилась всех своих магазинов, земель и домов. Она потеряла все. Она чувствовала себя глубоко преданной своей собственной дочерью.

А теперь, когда отец ушел, бабушка жила с нами. Это было трудно и для нее, и для моей матери, но так важно для меня.

У меня до сих пор сохранились живые воспоминания, связанные с ней. С тридцати лет бабушка начала откладывать вещи, в которых хотела быть похоронена. Каждые десять лет с изменением моды она меняла набор этой одежды. Вначале это было что-то в бежевых тонах. Потом – в горошек. После этого – темно-синяя одежда в тонкую полоску и так далее. Она дожила до ста трех лет.

Когда я спросила ее, что она помнит о Первой и Второй мировых войнах, она ответила: «Немцы очень корректны. Итальянцы всегда пытаются найти пианино и устроить вечеринку. Когда приходят русские, все разбегаются, потому что они насилуют всех женщин, и молодых, и старых». А еще я помню, когда бабушка впервые летела на самолете, она попросила стюардессу не сажать ее у окна, потому что она только что уложила волосы и не хотела, чтобы они спутались от ветра.

Как многие люди нашей культуры того времени, бабушка была очень суеверной. Она верила, что, если, выходя из дома, встретишь беременную или вдову, нужно обязательно оторвать от своей одежды пуговицу и выбросить ее, иначе будет несчастье. Но если птичка накакает на тебя, тебе несказанно повезет.

Чтобы я хорошо сдавала экзамены, бабушка выливала на меня стакан воды, когда я выходила из дома. Иногда в середине зимы я могла идти в школу с полностью мокрой спиной!

Милица предсказывала судьбу по кофейной гуще или горсти белых фасолин, которые она выбрасывала определенным образом, а потом толковала абстрактный рисунок, сложившийся из них.

Эти приметы и ритуалы были для меня по-своему духовными. Они соединяли меня с моей внутренней жизнью и снами. Когда много лет спустя я приехала в Бразилию, чтобы изучать шаманизм, шаманы обращали внимание на схожие

знаки. Если у тебя дергается левое плечо, это что-то означает. У каждой части тела свои знаки, позволяющие понять, что происходит у тебя внутри на духовном уровне, а также и на физическом, и на ментальном.

В подростковом возрасте это лишь начинало пробуждаться во мне. А мое нескладное тело было для меня только источником смущения.

Я была президентом школьного шахматного клуба, я хорошо играла. Как-то школа победила в соревновании, и я была выбрана для получения награды. Мать не захотела покупать мне новое платье для церемонии награждения, и я вышла на сцену в своих ортопедических ботинках и фальшивой нижней юбке. Официальные лица вручили мне награду – пять новых шахматных досок, и когда я спускалась со сцены, мой огромный ботинок за что-то зацепился, и я упала, а доски разлетелись повсюду. Все смеялись. После этого меня не могли вытащить из дома несколько дней. В шахматы я больше не играла.

Глубокий стыд, максимальная осознанность. В молодости мне было сложно даже просто заговорить с другим человеком. Теперь я могу выступать перед трехтысячной аудиторией без заметок, не имея представления о том, о чем буду говорить, даже без визуального сопровождения. Я могу смотреть на каждого и говорить в течение двух часов, легко.

Что случилось?

Случилось искусство.

Когда мне было четырнадцать, я попросила у отца масляные краски. Он купил мне набор и договорился об уроках рисования со своим старым другом времен партизанства, художником Фило Филиповичем. Фило Филипович, участник группы «Информель», рисовал, как он говорил, абстрактные пейзажи. Он пришел в мою студию с красками, холстами и другими материалами и дал мне первый урок.

Он отрезал кусок холста и положил на пол. Открыл банку с клеем и вылил ее на холст, добавил немного песка, желтого пигмента и черного. Потом он вылил на все это около полулитра бензина, бросил зажженную спичку, и все загорелось. «Это закат», – сказал он. И ушел.

Это произвело на меня очень сильное впечатление. Я дождалась, пока обуглившееся месиво высохнет, и потом очень осторожно приколотла его к стене. Потом мы с семьей уехали в отпуск. Когда мы вернулись, августовское солнце все иссушило. Краски выцвели, а песок осыпался. Не осталось ничего, кроме кучки пепла и песка на полу. Заката больше не существовало.

Позже я поняла, почему этот опыт был так важен. Он научил меня, что процесс важнее результата, так же как и перформанс для меня важнее объекта. Я видела процесс его создания и его исчезновение. У этого не было ни определенной длительности (как у спектакля. – Прим. пер.), ни стабильности. Это был чистый процесс. Позже я прочла и полюбила высказывание Ива Кляйна: «Мои картины не что иное, как пепел моего искусства».

Я продолжала рисовать дома, в своей студии. Однажды я лежала на траве и просто смотрела на безоблачное небо и вдруг увидела, как пролетели двенадцать военных самолетов, оставив после себя белые следы. Очарованная, я смотрела, как следы медленно растворялись и небо снова становилось совершенно голубым. И тут меня осенило: зачем рисовать? Зачем ограничивать себя двумерным пространством, когда я могу делать искусство из огня, воды, человеческого тела? Из чего угодно! В моем мозгу будто что-то щелкнуло – я вдруг поняла, что быть художником означало иметь огромную свободу. Если мне хотелось создать что-то из пыли или мусора, я могла сделать это. Это было невероятно освобождающее чувство, особенно для того, кто вырос в доме, где свободы практически не было.

Я пришла на военную базу в Белграде и спросила, не могли бы они отправить в полет дюжину самолетов. Я собиралась дать им инструкции, в каком направлении лететь, чтобы их следы образовывали в небе рисунок. Военный с базы позвонил моему отцу и сказал: «Забери свою дочь отсюда. Она вообще не понимает, насколько это дорого – послать самолеты, чтобы рисунок в небе сделать».

Тем не менее сразу рисовать я не перестала. В семнадцать лет я начала готовиться к поступлению в Академию художеств в Белграде – нужно было посещать вечерние курсы и брать уроки рисования, чтобы собрать портфолио для поступления. Я помню, все друзья говорили: «О чем ты вообще беспокоишься? Тебе ничего делать не надо – твоя мать сделает один звонок, и ты будешь зачислена». Это так меня злило, хотя на самом деле я просто стеснялась. Все, что они говорили, было правдой. Но это придавало мне особую

решимость обрести свою собственную идентичность.

На вечерних курсах мы рисовали с натуры, модели – мужчины и женщины – были обнажены. А я никогда не видела обнаженного мужчину. Один натурщик был цыганом, он был маленького роста, но его фаллос свешивался до колен. Я даже взглянуть на него не могла. В общем, я рисовала всех, кроме него. И каждый раз, подходя ко мне, преподаватель говорил: «Это незаконченный рисунок».

Однажды, лет в одиннадцать или двенадцать, я сидела на диване, читая какую-то книжку, которая мне очень нравилась, и ела шоколад – редкий момент абсолютного счастья. И вот я сидела и ела, полностью расслабленная, разбросав ноги по диванным подушкам. Вдруг из ниоткуда появилась мать и отвесила мне такую оплеуху, что из носа потекла кровь. «За что?» – спросила я. «Не раздвигай ноги, если сидишь на диване».

Я в Ровине. Истрия, 1961

У матери было довольно странное отношение к сексу. Она очень переживала, что я потеряю девственность до замужества. Если мне звонили и это был мужской голос, она говорила: «Что вам нужно от моей дочери?» – и с силой вешала трубку. Она даже почту всю мою вскрывала. Она говорила, что секс – это грязно и что он нужен, только если хочешь родить ребенка. Я боялась секса, потому что не хотела иметь детей, мне казалось, дети были ужасной ловушкой. А все, чего я когда-либо хотела, это быть свободной. Когда я поступила в академию, на моем курсе все уже потеряли девственность. Они развлекались на вечеринках и разных мероприятиях, но моя мать всегда требовала, чтобы я была дома к десяти, даже когда мне уже исполнилось двадцать, поэтому я никуда не ходила. У меня не было парня, и я думала, что со мной что-то не так. Когда я сейчас смотрю на свои фотографии, я вижу, со мной все было в порядке, но тогда мне казалось, что я выгляжу совершенно ужасно.

Однажды, в четырнадцать лет, я поцеловалась, но это не считается. Мы отдыхали на хорватском побережье, мальчика звали Бруно. Это был даже не поцелуй в губы, просто поцелуй в щеку. Но нас увидела моя мать и за волосы

оттащила меня от него. Настоящий первый поцелуй случился позже. У меня была подруга Беба, очень красивая, вокруг нее всегда собирались мальчики. Ее часто приглашали на свидания, но из-за того, что приглашений было так много, она не могла пойти на все и посылала меня вместо себя. Однажды у нее была назначена встреча с мальчиком, который жил через дорогу от меня, но она не могла пойти и попросила меня сходить в кино, где они договорились увидеться, и передать ему это. Я пошла в кино, нашла его и сказала: «Мне очень жаль, но она не сможет прийти». А он ответил: «У меня два билета. Хочешь пойти?» Мы посмотрели кино, вышли на улицу, пили водку, которую он принес с собой. Все закончилось тем, что мы оказались лежащими в снегу, и он поцеловал меня. Это был мой настоящий первый поцелуй. Мальчик мне нравился, но я с ним не спала. Его звали Предраг Стоянович.

Моя первая любовь. 1962

Я не хотела терять девственность с тем, кто мне нравился, потому что я боялась влюбиться в первого человека, с которым пересплю. Я хотела сделать это с тем, на кого мне было наплевать.

Я знала, что когда девушка в первый раз спит с парнем, она в него обычно влюбляется, потом он бросает ее, и она страдает. Я не хотела, чтобы что-либо из этого произошло со мной, поэтому придумала план: я найду парня, который известен тем, что спит с большим количеством девушек, и просто использую его, чтобы потерять девственность. И тогда я буду нормальной, как все. Но нужно, чтобы это случилось в воскресенье, в 10 утра, чтобы я могла сказать матери, что пошла на утренний сеанс в кино, потому что на вечерний она бы меня не отпустила. Я пошла в академию, выбрала парня, любителя вечеринок и выпивки. Идеально. Я знала, что ему нравится музыка, поэтому подошла к нему и сказала: «У меня есть новая запись Перри Комо. Хочешь как-нибудь послушать? Я не могу дать ее тебе, но можем послушать вместе». (В то время я на самом деле слушала только классическую музыку и специально для этого одолжила запись у подруги. Про рок-н-ролл я тогда не знала ровным счетом ничего.)

Парень говорит: «Хорошо, когда?» Я говорю: «Как насчет воскресенья?» Он отвечает: «Давай, во сколько?» Я: «В десять утра». Он: «Да ты с ума сошла!» – «Тогда в одиннадцать?»

Я подготовилась, купила албанский коньяк. Это худший алкоголь, который вы только можете себе представить, – его делают утром, чтобы выпить вечером. Шутка. В то время албанцы приезжали в Югославию за белым хлебом, потому что у них был ужасный коричневый хлеб. Это не тот полезный хлеб, который вы можете купить в Штатах. Он был коричневого цвета, потому что был сделан из плохой пшеницы. На вкус он был похож на песок. Албанцы клали кусок белого хлеба между двумя кусками своего коричневого и ели как сэндвич с сыром.

Теперь вы можете представить, каким на вкус был албанский коньяк, который делали из такого хлеба. Да и я, в общем-то, не пила тогда, но подумала, что коньяк может быть хорошим анестетиком. Я пришла к его дому в одиннадцать, постучала в дверь. Никто не ответил. Я постучала еще, и наконец он вышел, заспанный, будто вчера был на вечеринке и вернулся поздно ночью. Он сказал: «А... ты уже пришла. Окей. Я пойду приму душ. Сделай кофе».

Пока он принимал душ, я сварила кофе, добавив туда существенное количество албанского коньяка. Мы выпили кофе, и я включила Перри Комо, мы сели на диван, и я буквально вскочила на него. Мы даже раздеться не успели, а когда случился секс, я закричала. Он тогда понял, что я девственница, и так разозлился, что вышвырнул меня из своего дома. Еще только через год я сделала это по-нормальному, и произошло это с Предрагом Стояновичем, ставшим моей первой любовью. Я гордилась тем, что больше для меня это не проблема.

Мне было двадцать четыре. Я все еще жила с матерью, все еще должна была приходить домой до десяти вечера. Все еще полностью была под ее контролем.

Глава 2

Отец несколько раз пытался научить меня плавать – в бассейне, в озере на мелководье, – все безуспешно. Я очень сильно боялась воды – и особенно уходить с головой под воду. Терпение отца в итоге лопнуло. Однажды летом, когда мы были на побережье, он посадил меня в шлюпку, вывез в море и бросил в воду, как собаку. Мне было шесть лет.

Я запаниковала. Последнее, что я видела перед тем, как уйти под воду Адриатического моря, спину отца, уплывающего прочь и даже не оглядывающегося. Потом я тонула, опускалась все глубже и глубже, я молотила руками, рот наполнялся соленой водой.

Я тонула и не могла не думать об отце, удаляющемся без оглядки. Это так разозлило меня, не просто разозлило, а привело в ярость. Я перестала захлебываться, а мои молотившие воду ноги и руки каким-то образом подняли меня на поверхность. Я доплыла до шлюпки.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Р.-М. Рильке. Элегия девятая. Перевод В. Микушевича.

2

Эта история запомнилась Марине Абрамович не совсем верно. На самом деле Марина Цветаева вернулась в СССР в 1939 году вслед за мужем Сергеем Эфроном и дочерью Ариадной, которые вскоре были арестованы. Сама Цветаева в начале войны была эвакуирована в Елабугу и пыталась найти работу судомойки в столовой Литфонда в Чистополе. Повесилась она 31 августа 1941 года в Елабуге, в том самом доме, куда была определена на постой. (Прим. ред.)

Купить: https://telnovel.me/abramovich_marina/proyti-skvoz-steny-avtobiografiya

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)